

**Татьяна Галушко «Поэзия с годами  
стала думой...»**

*Я живу, распахнув календарь,  
предрешиённому часу навстречу.  
Впереди у меня только даль,  
одиночество слуха и речи.*



Теперь я обхожусь без черновых...  
Поэзия с годами стала думой,  
привычкой, неотступной и угрюмой,  
без внешних признаков как таковых.

Не надо ни бумаги, ни стола,  
уютного тепла и кабинета.  
Мне кажется чужим богатство это.  
Сосредоточиться — и все дела!

Между сплошными спинами в трамвае  
я отдышу укромный уголок,  
где затрепещет ласточка живая,  
к немому слогу прилепляя слог.

\*\*\*

У тополей немислимая статья,  
но дрожь мучительней, чем слёзы ивы...  
Тому, кто заставлял меня страдать,  
я сострадала в самый миг разрыва.

От жалости не поднимая глаз,  
ждала, когда его устанет злоба.  
Теперь мы квиты. И не правы оба.  
Но я виновней: я сильнее из нас.

Вчера, едва окончилась гроза,  
мне стало легче. Плакать перестала

и вышла. В гору подняла глаза  
невидяще. И вот что увидела:

Вверху, испариной покрытый склон,  
сам от себя кусками отрывался...  
То розовый там уголь разгорался,  
то гаснул, серым ветром занесён.

Там был погост. Там чьи-то две души  
в платанах шелестели надо мною.  
Там я прочла на камне под стеною:  
«Обидеть медли, отомстить спешу».



Ты снишься мне — к беде. Ты не в минувшем,  
а в будущем. И лишь заходит речь  
о казни для меня, твой мир нарушен -  
летишь впотьмах спасти, предостеречь.

А я во сне, не понимая цели,  
которая назад тебя вела,  
блаженствую, почти как в колыбели,  
в защитном круге твоего тепла.

Ты наклонилась к девочке румяной,  
в пижаме с верблюжонком на груди...  
Что из того, что мне за сорок, мама,  
я без тебя боюсь, не уходи!



Пожалуйста, побудь ещё немного.  
Я не проснусь, пока не рассвело.  
Я вызвала тебя своей тревогой.  
Предчувствием. И видишь: помогло.

Зато наутро, вперясь в амальгаму,  
в январское зеркальное кольцо,  
я в нём узнаю не себя, а маму,  
её непобедимое лицо.

\*\*\*

Уж если голосом твоим  
жизнь отреклась — не прекословлю.  
Бесследно растворился дым,  
венчавший наш очаг и кровлю.

Бегу сквозь комаровский лес,  
от страха леденеют ноги,  
а полнолуние на дороге  
необгонимый чертит крест.

Какая сила вдруг рывком  
прицельно вынесла к вокзалу,  
втокнула в поезд, летний дом,  
шепнув мне на ухо, назвала?

И вот он. Тайной тишиной  
окно светилось. Печка рдела.  
И женщина — к дверям спиной -  
с тобою в комнате сидела.

Спаси меня не знаю кто!  
Людей таких не существует.  
Утешь, угрей, накинь пальто,  
мне отовсюду смертью дует.

Прекрасна тьма, небес волшба,  
в сугробе яркая лачуга.  
А гибель — жёсткий контур чуда,  
та дверь — в которую вошла.



Я, как Мария Петровых,  
Была собою – во-вторых,  
А кем была во-первых,  
Не знаю. Разными людьми.  
Тобою. Нашими детьми.  
Сама себе соперник.  
Сама себе дурак и враг,  
И вечная растрата,  
А всё, что написала, – так,  
Скорей всего от страха,  
Что впрямь рассыплется в золе  
Душа моя, касатка,  
И не оставит на земле  
Живого отпечатка.



-Не тронь меня, и я тебя не трону.  
Прикосновенье — самооборона.  
Забудь меня, и я тебя забуду,  
и в никуда вернусь из ниоткуда.

Я замолчу, и ты пребудешь немом, -  
но как реке избавиться от неба?  
Но как глазам от глаз освободиться  
и, всё вобрав, самим не погрузиться?

Я тень мою сотру с твоих ступеней,  
но стены лишь усиливают пенье,  
но линзы вызывают запах дыма.  
Друг другом все объята и твердимы.

- Пусти меня! - Напрасно и стараться,  
друг в друге растворясь, потом расстаться.  
Прошедший мимо разве вправду минул?  
Во мне он — как замедленная мина.

«Не тронь меня» ты хочешь. Но когда-то  
ты станешь мной. И я не виновата.



Ах, я не хотела атласного тела -  
я во поле белой берёзы хотела.

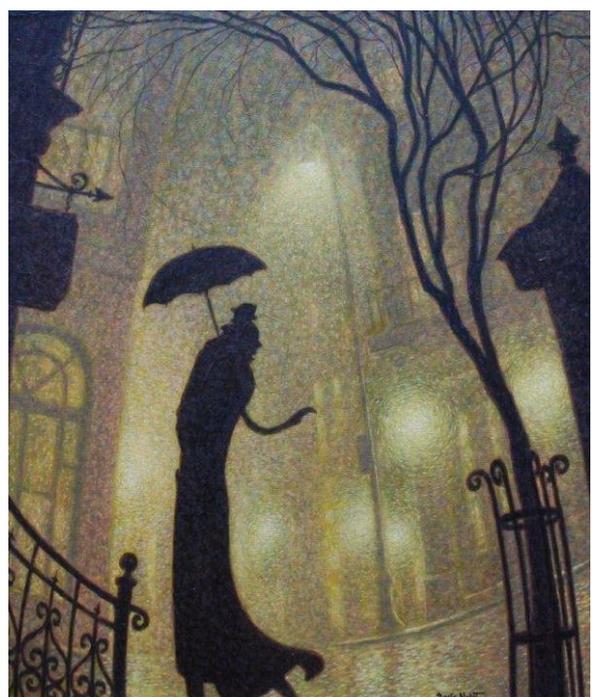
Пылающим пальцам три влажных пруточка,  
протяжным губам три душистых гудочка.

Гудочек-жалейку, гудочек-побудок,  
гудочек для дочкиных прибауток.

Ещё балалайку — побаловать вволю.  
Так нет же, так нет же мне чистого поля.

Живу, не шелохну безветренной бровью,  
живу, замерев замурованной кровью.

Но нежно и бережно, словно сквозь слёзы,  
Над полем далёким всё брезжат берёзы...





Ладонями к твоим хочу лепиться  
наперекор друзьям моим — врагам.  
Напрасно им не пьётся и не спится -  
все улицы ведут к твоим губам.

На перекрёсток тот, на перерыв  
дыханий захлебнувшихся, на волю  
моей души. Всё небо оперив,  
там облака сверкают, как от боли.

И вместе с нами падают в траву,  
и вместе с нами реют над мостами.  
Мы там лишь существуем наяву,  
когда с мечтой меняемся местами.

Есть этот город. Вот чего  
не отряхнуть. Есть этот город.  
Его бездушное чело  
в моем окне. Он слишком горек

моим губам — чтобы забыть,  
моим глазам — он слишком солон.  
Он мне рождением адресован  
и волен потому — убить.



Я видела его во сне.  
Он шёл по набережной к дому,  
а я за шторою в окне  
стояла, рот зажав ладонью.

Он шёл, ссутулясь, весь в снегу,  
а шарф болтался нерадиво.  
И боль родства, как резь в боку  
меня прожгла и разбудила...

Ах, он понятия не имел,  
что, вызванный тоской подспудной,  
зимой, по Мойке малолюдной  
спешил ко мне. И не успел.

\*\*\*

Они ещё не ведают меня,  
увлечены своим крошечным пиром.  
Меж тем при свете чахлого огня  
я дальновидна и хитра, как Пимен.

Инкогнито. Все когти — внутрь. Ого!  
А после — что ж, пусть узнают, пожалуй,

как о болезни узнают по жару,  
по лихорадке тела своего.

И удивятся, как я высока,  
как ртути удивляются высокой.  
А я им правдой обожгу уста  
и голову потребую за око.

## «Прощание с другом»



Прощай. Мы не расстанемся уже.  
Теперь твой жребий принял вид канона.  
Как стих. Как Летний сад, вечнозелёный,  
с классической решёткой — на душе.

Теперь могу с тобой не второпях,  
не на углу Литейного (о если б!),  
стоять во всех прошедших временах,  
в любом стихе, как на любой из лестниц,

болтая и куря, и на одну  
минуту, прислонясь плечом друг к другу,  
следить, как по немьтому окну  
скребёт когтями мартовская вьюга.

Прощай. Просторно памяти вдвойне  
Во мраке той площадки поднебесной,  
Где ты, картавый, юный и безвестный  
Пил из бутылки черный каберне.

Не рвется время, как его ни рви.  
Как ни кромсай — всегда одна анкета  
у каждого действительно поэта:  
проклятый вирус совести в крови,

друзья, тюрьма, сживание со света,  
друзья, изнанье, прах чужой любви...



Нет, только умирать не на виду,  
Не посреди детей своих кричащих.  
Бежать, бежать к неуязвимой чаще...  
Как зверь, беды к норе не приведу.

Свой безвозвратный отыскать овраг  
С навесом хвои и высоким склоном,  
Ну, не овраг, так мост, или чердак,  
Или вагонный тамбур, или... словом,

Любое место, нужное как раз,  
Да и не место даже — про-ме-жуток  
Мгновенный, где неощутимей раз-  
рыв меня со мною и — не жуток.

Ни детских глаз — нет, ни за что! — ни стен,  
Всё, что угодно, но не стен, в которых,  
Былая жизнь, как бабочкина тень,  
Под абажуром бьётся и на шторах.





Утешает в тоске об исходе  
С облетающим лесом родство.  
Пусть уйду, когда в щедрой природе  
Гибель выглядит как торжество.

Не во мрак, а в листву, что алея,  
Осыпается с крон и крылец,  
Перельюсь я, дитя Водолея,  
Словно дождь, мой холодный близнец...

Ты мне даришь, кленовая чаща,  
Шелестение света в руках,  
Но уже опрокинута чаша  
И сгущается плач в облаках.



Я вышла наугад:  
пурга вилась кругом,  
как дикий виноград  
охлёстывая дом.

В последние часы,  
не по-ночному храбр,  
высокие Весы  
выравнивал декабрь.

Год прожитый — как час.  
Наш голод — словно пир.  
Двух колыбельных чаш  
колеблющийся мир.

Всё, что кричит во мгле,  
всё, что молчит во рту,  
на меховой земле,  
на кружевном верху, -

не взять и не отнять.  
Декабрь шептал: позволь,

я лишь хочу обнять  
воспоминаньем боль.

Я лишь хочу помочь,  
хочу смягчить сердца...  
Я закричала: «Прочь!» -  
и спрыгнула с крыльца

в метельную спираль,  
во тьму, в собачий лай,  
не то в былой февраль,  
не то в грядущий май.

И колотьём в боку,  
и серебром в глазу  
я знала на бегу,  
что тяжело — внизу

(не перевесит Бог,  
не облегчит успех).  
Метёт моя любовь,  
как новогодний снег.



Белый свет, какой ты белый,  
снежный свет, метельный мир.  
Были беды, будут беды -  
всё равно ты будешь мил.

Ослепительным и длинным  
представляешься путём,  
а в ночи сойдёшься клином  
под высоким фонарём...



Чужой ты мне! Иди и странствуй,  
и, крепче прожитых обид,  
сосредоточенность пространства  
нас, разлучённых, породнит.

Мой горький опыт дальнорюк:  
в тебе рассвет не уцелел.  
Глаза — пустынные озёра,  
в них образ леса облетел.

А издали... Меж чёрных строчек,  
как между беглых облаков,  
свет ослепительный проскочит,  
и был таков. И был таков...

И в миг письма, когда твой взгляд  
безлюбым сходством околдован,  
ты мне простишь наивный довод:  
за сходство не благоволят.

\*\*\*

Энергия важнее темы.  
И вся задача — записать  
все скрипы, шорохи и тени,  
переполняющие сад.



А ну придвинься, это мой секрет:  
вблизи глаза становятся родными  
и добрыми, они соединимы  
в движении, как бег блестящих рек.

За полшага — за тридевять земель,  
а так мы — одинакового роста.  
Так обморок взаимный. Или хмель.  
Или, пожалуй, общее сиротство.

И нежность вновь сжимает мне виски  
венцом остроконечным и мгновенным.  
А можно оградить себя так верно:  
всего лишь взгляд от взгляда отвести.



И если ты успел — твой правнук,  
стихи забытые открыв,  
почувствует, как в сердце прянет  
запечатлённый твой порыв...



До — ещё под нижней линией  
памяти. Ещё по ту  
сторону лавин и ливней,  
попадания под пяту,

до моей так называемой  
умной жизни — было Ма-  
ма — ромашкой несгораемой  
над вершиною холма.

Ма-ма... мерно и таинственно,  
первым звуком вслух и вглубь,  
главным, если не единственным,  
назначением для губ.

Всё великое и малое,  
всё канун, а не канон -

всё именовалось мамою  
или было без имён.

Вещи, звери и растения,  
из которых я росла,  
находились в кровной степени  
мне доступного родства.

Издали теперь всё явнее,  
что в блаженной той тиши  
мама — было состояние,  
возраст мира и души,

а не кто-то с дерзкой стрижкою,  
с оттопыренной губой,  
между ковриком и книжкой  
на кровати голубой.



Я уже не имею в виду  
напечататься в толстом журнале.  
Может быть, в девяностом году  
выйдет книжка, а впрочем, едва ли.

И по общему мнению тех,  
кто пророчил мне в юности славу,  
я на громкую роль и успех  
безвозвратно утратила право.

Пожимают плечами друзья,  
если кто-нибудь, неосторожный,  
спросит, как я, пишу ли? - Семья, -  
отвечают они односложно.

Но усмешка, порхнув по чертам,  
точно птица по зимним деревьям,  
задевает незажитый шрам  
боли, бывшей когда-то доверьем.

Не одна я для вас не сбылась:  
вы во мне для себя не свершились,

ибо в стае важнейшее — связь,  
если небо редее, всё ширясь.

Я не каюсь, и не за что мне  
извиняться. Всё вышло как надо.  
Как посеяно там, в вышине,  
улетевшего к прадедам сада.

Как ночное растенье в росе,  
я в слезах на земле пиновала,  
и, как все существующая, как все,  
обделённой ни в чём не бывала.

Зря, друзья, ваши лица судей  
леденеют в безмолвном допросе.  
В безымянной общине людей  
вы меня не узнаете вовсе.

Я живу, распахнув календарь  
предрешённом часу навстречу.  
Впереди у меня только даль,  
одинокость слуха и речи.



Эта книга в стихах сложена.  
Что же время, читая, запнулось?  
Что совпало, чтоб я ожила,  
в страшный сон из бессмертья вернулась?

Двадцать пятое было число.  
Все дома, все сады занесло.  
Накреньялся, над бездной скользя,  
нашей юности зал именинный.

Исчезали из дома друзья  
под шипенье позёмки змеиной.  
И стрелялись не в сердце, а в спины,  
и вмешаться мне было нельзя.

Сколько жизней родных снесено  
С этих улиц, избитых, как песни.  
Странно, что уцелело письмо,  
что оно никогда не исчезнет.

Как ждала я хранителя! Но  
только хищники рвались из бездны.  
Клад любовный растащен давно,  
обесцененный и бесполезный.



Я ли это молю: только раз,  
раз в неделю согрей — хоть прилюдно -  
добрым взглядом жалеющих глаз...  
Неужели добро непробудно?

Я ли это кричу: «Пропади  
доля женская? Всех ненавижу!» -  
И, дитя оттолкнув от груди,  
наживаю кошёлками грызу?

А по улицам, в зимнюю ночь,  
смазав чёрные едкие слёзы,  
я ль от собственной смертной угрозы  
убегаю неистово прочь?

Город бесчеловечный растёт  
в ядовитом дыханье тумана  
и меня ли - «Татьяна, Татьяна», -  
дивный голос из дали зовёт?

При жизни у Татьяны Галушко вышло четыре сборника: «Монолог» (1966), «Равноденствие» (1971), «Образ» (1981) и «Древо времени» (1988). В 2003 году в Санкт-Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышла книга «Жизнь. Пoesия. Пушкин», составленную её близким другом Роней Зеленовой, написавшей предисловие к ней.

Рисунки: Ю.Барминова, К.Кузема, Б.Щербаков, С.Паршин, Д. Nolet, F. Perez, R.Blanc, H.Seeger.



Отдел обслуживания  
художественной литературой  
УНИЦ КНИТУ, Б-224